

Ярослав Северцев



Призраки Ленинградской блокады

18+

Ярослав Северцев

Призраки Ленинградской блокады

«Автор»

2026

Северцев Я.

Призраки Ленинградской блокады / Я. Северцев — «Автор»,
2026

Ленинград, 1941 год. Город задыхается в тисках голода и холода. В пустом, промерзшем до костей Кировском театре осталась горстка артистов, отказавшихся от эвакуации. Их единственное оружие против смерти — балет. Когда немецкий снаряд перерезает «Дорогу жизни», а пайки тают быстрее, чем свечи, у них остается последний шанс: дать закрытый спектакль для членов Военного совета, чтобы доказать, что город жив. Санкт-Петербург, наши дни. Молодой реставратор Андрей случайно находит за старой штукатуркой дневник танцовщика Николая Веселовского. Вместе с пожелтевшими страницами в его руки попадает вещественное доказательство той ледяной драмы — обрывок веревки, намертво въевшийся в балетный пуант. «Призраки Ленинградской блокады» — это суровая, пронзительная и жестокая история о том, какой ценой искусство побеждает смерть. О том, что великий балет — это не только грация, но и сталь, кость и право оставаться человеком, даже когда мир вокруг превращается в ледяной ад.

© Северцев Я., 2026

© Автор, 2026

Ярослав Северцев

Призраки Ленинградской блокады

От автора

Эта книга — художественное произведение. Её герои, их имена, судьбы и поступки созданы воображением автора. Отдельные названия организаций и воинских частей, даты и обстоятельства изменены в соответствии с художественным замыслом.

Работая над романом, я обращался к общедоступным архивным материалам, воспоминаниям жителей блокадного Ленинграда, мемуарам и открытым историческим источникам. Они помогли мне почувствовать ту эпоху и передать быт, холод, голод и мужество людей, которым выпало пережить блокаду.

Эта книга не является документальным исследованием или точной реконструкцией конкретных событий. Историческая реальность стала основой для вымышленной истории, а у персонажей романа нет прямых прототипов. Любые совпадения с именами, биографиями и судьбами реальных людей случайны.

Эта история написана для того, чтобы сохранить память о людях, чьё мужество оказалось сильнее голода, холода и страха.

С глубоким уважением к памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда от автора Ярослава Северцева.

Глава 1. Голоса под штукатуркой

Слой старой, намертво въевшейся в кирпич известковой штукатурки отвалился тяжелым, неровным пластом. Он рухнул прямо к ногам Андрея, подняв густое, серое облако въедливой, сухой пыли. Андрей инстинктивно зажмурился, отшатнулся назад и зашелся в глухом, надсадном кашле. Мелкая взвесь мгновенно забила ноздри, осела на пересохшем горле горьким, меловым привкусом. Он мазнул по лицу тыльной стороной ладони, испачканной в сером цементе, оставляя на щеке грязный, размазанный след, и сплюнул под ноги.

Реставрация исторической сцены Мариинского театра — тогда еще, в далеком сорок первом, носившего имя Кировского — шла к концу третьей недели. За это время Андрей успел возненавидеть этот подлестничный закуток за кулисами третьего яруса лож. Здесь, в недрах старого здания, воздух, казалось, не менялся с прошлого века. Театр пах сыростью, застоявшейся под паркетом водой, сухим столярным клеем, вековой пылью и почему-то тяжелым, удушливым нафталином, который, должно быть, десятилетиями въедался в стены из соседних костюмерных цехов.

Стояла душная, душная петербургская ночь. В высокие, немывые окна коридоров пробивался блеклый, призрачный свет белых ночей, но здесь, в полумраке глубокой ниши, без мощного строительного фонаря делать было нечего. Андрей приставил тяжелый стальной шпатель к стыку двух дубовых балок перекрытия. По проекту эту стену должны были просто зашить гипсокартоном и забыть, но главный реставратор — дотошный старик, помешанный на истории — требовал лично проверить каждую несущую конструкцию, прежде чем скрывать её под современными материалами.

Инструмент уперся во что-то мягкое, глухое. Это был не кирпич. И не трухлявое, крошащееся от сырости дерево.

— Ну-ка, — пробормотал Андрей себе под нос, чувствуя, как от долгого нахождения в наклонном положении начинает тупо ныть поясница.

Он перехватил фонарь левой рукой, направив узкий, резкий луч прямо в открывшуюся щель. Между толстым дубовым брусом и черновой кирпичной кладкой, глубоко в пазу, забитом ветовой ветошью, сухой соломой и вековым мышиным пометом, лежал сверток. На первый взгляд он казался просто куском старого строительного мусора. Плотная серая бумага — пожелтевшая, расслоившаяся от времени обертка от довоенной пачки махорки-крупки, туго перевязанная сухой, крошащейся бечевкой. На ощупь сверток казался невероятно хрупким, словно сухой осенний лист, готовый рассыпаться в прах от малейшего сквозняка.

Андрей аккуратно, стараясь не дышать, потянул за край бечевки. Веревка лопнула в его пальцах без малейшего сопротивления, превратившись в серую труху. Он вытянул сверток наружу, присел прямо на перевернутое пластиковое ведро из-под шпатлевки, стоявшее рядом.

Под слоем махорочной бумаги оказалась школьная тетрадь в плотном коленкоровом переплете. Страницы её по краям обгорели, местами сгнили от сырости, покрывшись крупными бурыми пятнами, но фиолетовые чернила, местами выцветшие до полной прозрачности, всё ещё держали текст. Это был ровный, каллиграфический почерк человека, которого явно учили писать ещё в дореволюционной гимназии — буквы стояли ровно, с аккуратными, заученными наклонами.

Андрей наугад открыл первую страницу. Бумага сухо, зловеще хрустнула под его пальцами.

«12 октября 1941 года. Говорят, Бадаевские склады ещё дымят, но из нашего окна на Мойке виден только серый, жирный, неподвижный туман. Сладковатый, тошнотворный запах горелой муки и горелого сахара вьётся в стены квартиры, кажется, он теперь везде — в волосах, в шерсти старого пледа, в обивке кресел, даже в глотке при каждом вздохе. Елена сегодня не пришла на репетицию. Я знаю, почему. Её мать окончательно слегла, а карточки... карточки они потеряли где-то у Фонтанки во время вчерашнего обстрела. Если Лена не встанет к станку завтра, её мышцы начнут перерождаться. В голодном, остывающем теле балет умирает первым. Сначала уходит прыжок, уходит легкость, потом — фиксация, потом человек превращается в сухой, ломкий стебель. Я должен найти её».

Андрей замер. Шум ночного города за окнами театра — редкие автомобили на набережной, далекий, беззаботный смех молодежи у Мойки — вдруг показался ему ненастоящим, картонным, нарисованным на дешевой театральной декорации. Он перевернул страницу. Из глубины тетради на его колени, прямо на испачканные рабочей известкой джинсы, выпал маленький, пожелтевший клочок плотного картона. Пропуск на три лица в репетиционный зал Кировского театра, датированный ноябрем сорок первого года. И внизу — размашистая, бледная подпись: *«Танцовщик характерной труппы Н. Веселовский».*

Андрей перевел взгляд на темные, уходящие в колосники кулисы пустой сцены. Там, где сейчас тускло горели современные дежурные лампы, восемьдесят пять лет назад стояла звенящая, смертельная стужа.

...В октябре сорок первого Ленинград уже задыхался в тисках. Город не просто голодал — он каменел, выцветал, терял человеческие звуки. Трамваи ещё ходили, но как-то лениво, со скрежетом, словно у них тоже не хватало сил цепляться колесами за ржавые рельсы.

Николай Веселовский шел по Садовой улице, прижимая подбородок к груди, чтобы защитить лицо от ледяного, секущего ветра. Его пальто, некогда щегольское, сшитое на заказ в тридцать девятом году после успешного бенефиса, теперь висело на нем, как на вешалке. За последний месяц он потерял двенадцать килограммов. Для характерного танцовщика, чья сила всегда была в мощном, взрывном толчке, в железной спине и сильных бедрах, это означало катастрофу. Ноги казались налитыми свинцом, а в коленях при каждом шаге возникало странное, сухое трение, будто туда насыпали крупного речного песка.

Он нес в глубоком внутреннем кармане настоящую драгоценность — половинку плитки эрзац-шоколада. Ее Николаю выделил завгар театра за помощь в разгрузке тяжелых ящиков с

архивным реквизитом, предназначенным для эвакуации. Эвакуация... Большая часть труппы уехала на Урал, в Пермь, еще в августе, когда кольцо только сжималось. Николай остался. Почему? Он и сам толком не мог ответить на этот вопрос. Из-за Лены? Из-за того, что его старый отец, бывший скрипач оркестра, наотрез отказался бросать квартиру на Мойке, заявив, что не перенесет дорогу в теплушке?

— Коля! — негромкий, сиплый голос заставил его остановиться у ворот со львами.

Из подворотни доходного дома вышла женщина. Николай не сразу узнал в ней Анну Ивановну — костюмершу, которая еще весной сдувала с его камзолов невидимые пылинки перед выходом на сцену. Теперь перед ним стояло существо неопределенного возраста, укутанное в три грязных платка поверх серого ватника. Глаза её глубоко запали, превратившись в черные провалы, а кожа имела странный, зеленовато-серый оттенок папиросной бумаги.

— Коля, в театре-то что? Будет сбор? — она цеплялась за его рукав тонкими, похожими на птичьи лапы пальцами. Пальцы её дрожали от крупной, голодной дрожи.

— Будет, Анна Ивановна. Шеф сказал, концертные бригады формируют. Для госпиталей. И на передовую поедет, если ладожский лед встанет, — Николай попытался улыбнуться, но сухие, потрескавшиеся от мороза губы тут же отозвались резкой, дергающей болью. Пошла кровь. Он быстро слизнул её — солоноватую, теплую.

— Какая передовая, сынок... — выдохнула костюмерша, и её пар коснулся лица Николая. — У Ленки-то матушка преставилась вчера. Третий день в холодной комнате лежит, Ленка её одеялом накрыла и сидит рядом. Не плачет даже, просто смотрит в стену. Иди к ней, Коля. У нее ж никого, кроме театра, не осталось.

Николай кивнул. Сердце ухнуло куда-то вниз, заколотилось тяжело, редко, отзываясь тупым давлением в висках. Он ускорил шаг, почти побежал, насколько позволяли непослушные, ватные ноги.

Дом Елены на канале Грибоедова встретил его зловещей, ватной тишиной. Подъезд был раскрыт настежь, двери в некоторые квартиры стояли выбитыми — люди уходили на фронт, умирали или перебирались к родственникам, оставляя жилье мародерам или холоду. На лестнице пахло гарью, сыростью и чем-то еще — сладковатым, тяжелым запахом, который Николай уже научился узнавать с закрытыми глазами. Запах скорой, неотвратимой смерти.

Он поднялся на третий этаж, толкнул незапертую дверь квартиры.

В комнате было едва ли теплее, чем на улице. На окнах крест-накрест были наклеены полосы старых газет — защита от взрывной волны. На комоде стояла маленькая железная буржуйка, её труба уходила прямо в форточку, но печь была холодной, из неё пахло горелой бумагой. Книги из домашней библиотеки, кажется, уже закончились.

Елена сидела на полу у стены. Да, её отец, тоже когда-то балетный, прибил к стене настоящий деревянный поручень — станок. Она сидела, обхватив колени руками, в своих старых, заношенных пуантах. На ней было надето репетиционное трико, поверх которого были натянуты две тяжелые шерстяные кофты и старый мужской пиджак. Лицо её, всегда точеное, с острыми скулами, сейчас казалось прозрачным, как фарфор. Сквозь кожу на висках отчетливо проступали синие, извилистые вены.

В углу, на кровати, под кучей тряпья и тяжелым зимним пальто, лежало что-то неподвижное, длинное и прямое.

— Лена, — тихо позвал Николай.

Она не вздрогнула. Медленно, словно её шея была сделана из несмазанного, ржавого железа, она повернула к нему голову. Глаза её — огромные, лихорадочно блестящие на исхудавшем лице — казались неестественно большими.

— Коля, — её голос был едва слышным шелестом. — Я пыталась сделать *plié*. Понимаешь? Пыталась. А ноги не держат. Мышцы... они как кисель. Если я не смогу танцевать, зачем мне карточка? Зачем мне эта четвертушка хлеба, Коля? Чтобы просто смотреть, как мама...

Она не договорила, тихо кивнув в сторону кровати в углу.

Николай подошел ближе, опустился перед ней на корточки. Достал из кармана ту самую половинку эрзац-шоколада. Развернул серую бумагу. Шоколад был блеклым, с белесым налетом от долгого хранения, но для них сейчас он был ценнее всего золота мира.

— Ешь, — приказал он. Голос его прозвучал неожиданно жестко, чужой для него самого. — Ешь, Ленка. Завтра мы идем в театр. Шеф собирает тех, кто остался. Мы будем ставить «Жизель». Хватит сидеть в этой могиле. Если помирать, так на сцене. Слышишь меня?

Елена посмотрела на шоколад, потом на его руки — пальцы Николая дрожали от крупной, голодной дрожи. Она протянула руку, взяла крошечный отломанный кусочек, положила его под язык и закрыла глаза. На её ресницах заблестели слезы — первые слезы за эти три дня.

А за окном, далеко, в районе Кировского завода, глухо и размеренно заухала немецкая артиллерия. Город содрогался, но паркет под ногами Николая и Елены оставался твердым. Единственной твердой вещью в их рушащемся мире.

Глава 2. На полосьях

Сани нашлись далеко не сразу. Николай искал их в темных, заваленных обломками кирпича и смерзшимся мусором закоулках двора-колодца почти полчаса. Старые, детские деревянные саночки с одной полностью выломанной продольной щепой сиротливо торчали из глубокого сугроба прямо около помойной ямы, из которой несло застарелой тухлятиной. Николай долго расчищал их пальцами, ломая ногти об обледенелую корку, пока под ногтевыми пластинами не запеклась темная, густая кровь вперемешку с грязной ледяной крошкой.

Окаменевшая на сорокаградусном морозе бечевка поддавалась неохотно. Пальцы в обретенных перчатках окоченели, превратившись в негнущиеся деревянныешки, и Николаю пришлось зубами затягивать мертвый узел, чувствуя на языке горький, пыльный вкус грязного пенькового волокна.

В комнате у Елены за это время ничего не изменилось. Там по-прежнему стояла та особая, ватная тишина, какая бывает только в замерзающих помещениях, где лежит покойник. Воздух застоялся, сделался густым, серым и тяжелым.

— Помоги, — хрипло сказал Николай, не поднимая глаз на девушку.

Они заворачивали тело Анны Борисовны в старое, тяжелое байковое одеяло в крупную клетку. Мать Елены весила теперь не больше подростка — затяжной голод полностью иссушил её, превратив в легкий, обтянутый пергаментной кожей костяной каркас. Когда Николай перехватывал её под мышки, чтобы приподнять, его пальцы явственно ощутили, как под слоями сукна глухо и сухо хрустнули хрупкие, истонченные ключицы. Елена не смотрела на лицо матери. Она туго, виток за витком, стягивала получившийся серый сверток длинными кусками старых театральных кулис, которые когда-то, еще в мирные тридцатые годы, её отец принес из театра на хозяйственные тряпки.

Спускать груз по обледенелой, совершенно темной лестнице доходного дома было невыносимо тяжело. Ступени сузились от намерзших нечистот и пролитой воды — канализация в доме лопнула еще в начале ноября, и люди выплескивали ведра прямо на пролеты. Николай шел спиной вперед, упираясь коленями в выступы холодных стен, чтобы не поскользнуться. Его дыхание вырывалось изо рта густыми, белыми клубами пара, мгновенно оседая колючим инеем на воротнике пальто. Сердце колотилось где-то в самом горле — сухим, горячим, болезненным комком.

На улице их встретил мелкий, частый, похожий на поваренную соль снег. Он не падал, а летел горизонтально, больно колотил воспаленные глаза. Николай впрягся в пеньковую бечевку, перекинув её через правое плечо поверх старого ватника. Елена шла чуть сзади, придерживая сани за выломанный деревянный край обеими руками, чтобы они не заваливались на ухабах и ледяных торосах, наметенных у перекрестков.

Они шли в сторону Смоленского кладбища. Путь, который в довоенное время занимал у них от силы полчаса неспешного шага вдоль набережной, теперь казался бесконечным, как дорога через полярную тундру. Город вокруг них полностью выцвел, потерял краски. Пропали все привычные звуки — ни трамвайного звона, ни окриков редких извозчиков, ни шума работающих магазинов. Только глухой, шуршащий скрежет деревянных полозьев по насту да редкий, протяжный скрип шагов редких прохожих.

Люди попадались навстречу похожие на тени: укутанные до самых глаз в темное тряпье, с серыми, покрытыми копотью и морозом черепами вместо лиц, они везли за собой точно такие же длинные, укутанные в ковры или половики свертки. Никто ни на кого не смотрел. Взгляд каждого человека был намертво прикован к трем метрам снега впереди себя — шаг, еще шаг, только бы удержать равновесие, только бы не упасть. Падение на этой обледенелой тропе означало скорый и неотвратимый конец.

У моста через Фонтанку сани резко занесло на обледенелом стыке гранитных плит. Серый сверток сполз в сторону, и из-под тяжелого байкового сукна вывалилась кисть руки — тонкая, с пожелтевшими, загнутыми ногтями. Елена молча, без единого звука опустила на колени прямо в грязный снег, бережно заправила руку матери обратно под одеяло и сильно, до белизны в суставах пальцев, затянула узел пенькового шпагата.

— Коля, — тихо позвала она, не поднимаясь с коленей и глядя на серый лед реки. — Если я упаду на озере... не бросай тетрадь. Отец всегда говорил: пока нас помнят, мы танцуем. Даже если сцены больше нет.

— Замолчи, — огрызнулся Николай, чувствуя, как под мышками, несмотря на лютый, пронзительный холод, течет липкий, пахнувший животным страхом пот. — Вставай, Ленка. Нам еще назад через весь город идти. Нам в театр надо. Шеф ждет.

На Смоленском кладбище у ворот стояла старая полуторка с открытым задним бортом. В кузов двое мужчин в огромных брезентовых рукавицах лениво сгружали привезенные за день тела — обычное дело для той страшной зимы, общие рвы на окраинах копали саперы при помощи аммонала и тротильовых пашек. Земля промерзла почти на метр вглубь, обычные лопаты ломались со звоном при первом же ударе.

Николай отдал смотрителю кладбища их последнюю семейную ценность — три папиросы «Беломорканал», оставшиеся в жестяной коробке от покойного дяди, и крошечную четвертинку липкого, тяжелого хлеба из своего вчерашнего пайка. Смотритель молча, не говоря ни слова, забрал подношение, спрятал его в глубокий карман тулупа и указал грязной рукавицей в сторону глубокой, дымящейся на морозе траншеи за старой, полусломанной березой.

Когда всё было кончено, они повернули обратно к центру. Без страшного груза сани шли значительно легче, но силы у Николая были уже на исходе. В глазах то и дело вспыхивали яркие фиолетовые круги, а в ушах стоял навязчивый, тонкий, сверлящий зуммер — первый верный признак скорого голодного обморока. Елена шла рядом, крепко держась за его локоть. Ее походка изменилась до неузнаваемости: полностью ушла былая балетная выворотность, она волочила ноги, как столетняя старуха, глубоко загибая носками ботинок серый, перемешанный с золой снег.

К Кировскому театру они подошли, когда зимние сумерки уже налились густой, чернильной синевой. Огромное здание с колоннами на Театральной площади казалось мертвой, покинутой скалой. Окна нижнего этажа были наглухо заколочены серыми досками и завалены мешками с песком. На фасаде чернели глубокие следы от копоты — осколок немецкой фугаски срезал угол лепнины над центральным входом неделю назад.

Они вошли через узкий служебный вход со двора. В длинных коридорах пахло карболкой, сыростью и замерзшей мочой. Кое-где на облупившихся стенах всё еще висели довоенные яркие афиши: «Лебединое озеро», «Дон Кихот»... Лица улыбающихся, подтянутых танцовщиков казались выходцами из какой-то другой, придуманной и давно потерянной жизни.

В репетиционном зале на третьем этаже было темно. Единственным источником света была коптилка — жестяная банка из-под консервов с фитилем из медицинского бинта, заправленная темным машинным маслом. Вокруг нее, укутавшись в тяжелые шубы и рваные шерстяные одеяла, сидели всего три человека.

Старый балетмейстер Илья Филиппович — человек с бледным лицом из слоновой кости и вечно прямой, несмотря на голод, спиной — сидел на венском стуле, положив обе ладони набалдашником на старую деревянную трость. Рядом на полу устроилась балерина помоложе, Тоня, и аккомпаниатор Борис Михайлович, чьи тонкие пальцы в обрезанных шерстяных перчатках непрерывно, судорожно массировали друг друга, пытаясь вернуть чувствительность.

— Пришли... — выдохнул Илья Филиппович. Его голос шелестел, как сухая трава на ветру. — А я думал, всё. Думал, не соберем сегодня и тройки для репетиции.

Николай довел Елену до станка. Она ухватила за деревянный поручень обеими руками со всей силой, словно это был её единственный спасательный круг в рушащемся мире.

— Мы готовы, Илья Филиппович, — сказал Николай, медленно снимая шапку. Волосы его слиплись от пота и тут же начали присыхать к темени на ледяном сквозняке зала. — Надо начинать. Если мы не начнем сейчас, мы просто замерзнем по своим углам в коммуналках.

Балетмейстер медленно поднял глаза. В полумраке коптилки они казались черными, бездонными провалами.

— «Жизель», Коля? — старик горько, беззвучно усмехнулся, и его кадык дернулся под серым шарфом. — Ты посмотри на нас внимательно. Тонечка вчера упала на Фонтанке, у нее правое колено не разгибается до конца. Борис Михайлович не чувствует три пальца на левой руке уже два дня. Чем играть? На чем танцевать? В зале минус четыре градуса. Канифоль замерзла, превратилась в стеклянную, острую пыль. На пуантах ноги срежет до самой кости за первые пять минут репетиции. Это не балет будет, Коля. Это будет настоящая казнь.

Елена вдруг выпрямилась. Она медленно отпустила станок, сделала один тяжелый шаг вперед, в самый круг тусклого, чадающего света от коптилки. Медленно, с явным физическим увеличением, она подняла руки в первую позицию. Ее кисти мелко дрожали, но пальцы удерживали идеальную, заученную годами форму.

— Играйте, Борис Михайлович, — тихо, но удивительно отчетливо сказала она в пустоту зала. — Без музыки... без музыки совсем темно становится.

Глава 3. Ритм мертвой комнаты

Андрей затушил сигарету о зазубренный край жестяной банки из-под растворимого кофе. Его пальцы, испачканные сухой известковой побелкой и серым цементом, мелко, неупорядоченно дрожали. На экране смартфона, лежащего прямо на досках лесов, высветилось: 03:40. Ночь перевалила за экватор. На строительных лесах над сценой Мариинского театра гулял сквозняк, с тихим шуршанием колыхая тяжелую полиэтиленовую пленку, которой укрывали свежую гипсовую лепнину. Город за окнами тонул в прозрачной, призрачной синеве петербургского рассвета, но парню казалось, что из темноты пустых лож на него смотрят сотни провалившихся, голодных глаз.

Он открыл ноутбук, подключенный к мобильной сети. На официальном портале архивных документов Петербурга система долго, с натужным шуршанием кулера, крутила колесико загрузки. Андрей вбил в поисковую строку: «Веселовский Николай, артист балета, 1941». Ничего. Экран выдал сухую, мертвую системную строчку: *«Запрос не дал результатов. Проверьте правильность написания»*.

— Не там ищу, — пробормотал Андрей, чувствуя, как от долгого сидения на корточках затекли и заныли голени.

Он залез в закрытый чат питерских реставраторов и историков театра, нашел контакт Ольги Сергеевны — старейшего архивариуса Мариинки, которая знала каждый кирпич в этих

стенах. Несмотря на глухой ночной час, набрал сообщение: *«Ольга Сергеевна, простите за беспокойство. При вскрытии простенка ложи третьего яруса нашли дневник. Николай Веселовский. Характерный танцовщик. Сорок первый год. Слышали о таком?»*

Ответ пришел неожиданно быстро, через три минуты, словно пожилая женщина тоже не спала, карауля свои архивные тайны: *«Веселовского? Боже мой, Андрюша... Его нет в официальных списках эвакуированных. И в списках погибших от бомбежек тоже нет. Считался пропавшим без вести зимой сорок первого. Старики говорили, ушел на фронт в народное ополчение, но документов нет никаких. Что там в дневнике? Пришлите фото хотя бы одной страницы, умоляю».*

Андрей вместо ответа осторожно, едва дыша, перевернул хрупкий коленкорový лист тетради. На него снова пахнуло сухой гарью и застарелым холодом. Текст дальше шел неровно, строки съезжали вниз, фиолетовые чернила размылись от упавших и замерзших когда-то капель. Он начал читать, невольно проговаривая слова сухими губами.

«16 октября 1941 года. Борис Михайлович умер за роялем. Это случилось на третьем такте адажио. Он просто перестал нажимать на клавиши, медленно склонил голову на пюпитр, будто прислушивался к фальшивой ноте в басах. Мы не сразу поняли. Думали — устал, бережет силы. Когда Илья Филиппович подошел и легонько тронул его за плечо, Борис Михайлович беззвучно повалился набок вместе со стулом. Руки у него так и остались согнутыми в запястьях, как будто он все еще держал последний аккорд. Кладбищенские сани мы отдали соседям снизу за ведро технической олифы для буржуйки, поэтому завернули его в старый суконный половик из реквизита "Дон Кихота" и оставили в подвале под третьим костюмерным цехом. Там сейчас холодно, как в леднике. Лежать будет долго, до весны».

Андрей сглотнул сухой, вставший поперек горла ком штукатурной пыли. Страница хрустнула под его указательным пальцем.

«...Репетировать без музыки оказалось физически невозможно. Балетный шаг требует жесткой опоры на звук, иначе тело теряет ориентацию в пространстве, заваливается набок на каждом шаге. Тогда Илья Филиппович принес из своего кабинета старый немецкий метроном. Тяжелый деревянный треугольник из темного ореха с латунным маятником. Старик завел его ржавым ключом, и по ледяному, пустому залу покотился этот звук. Щёлк. Щёлк. Щёлк. Точно такой же, как из репродуктора на Садовой, когда радиопузел не передает известия со сводками Совинформбюро. Ритм умирающего сердца».

Повествование дневника увлекло Андрея в ту ледяную комнату сорок первого года, стирая современные звуки ночного города.

Зал Кировского театра сузился до размеров маленького, дрожащего пятна света от копилки. Стены покрылись густым слоем серого, пушистого инея, который слабо поблескивал, когда маятник метронома отлетал в крайнее положение. Каждый щелчок отдавался в ушах Николая резким, болезненным ударом, точно кто-то вбивал маленькие гвозди ему под череп.

— И раз, и два, — хрипел Илья Филиппович, отбивая такт сухой ладонью по своему колену. — Лена, выше кисть держи. Не падай всей массой на пятку, разобьешь сустав к черту. У нас нет гипса.

Елена стояла у станка. Ее лицо из белого стало землисто-серым, губы окончательно посинели от холода. На ней были надеты тяжелые уличные ботинки — тонкие пуанты они берегли для финального выхода, да и пальцы в них замерзали до черноты за три минуты репетиции. Николай видел, как сквозь серые шерстяные рейтузы на её бедре отчетливо проступают острые очертания костей. Подкожного жира не осталось вовсе, мышцы сохли со страшной скоростью, превращаясь в тугие, болезненные, стянутые жгуты.

— Коля, поддержи... панорама плывет, — выдохнула она, и её веки судорожно дрогнули.

Николай сделал быстрый шаг вперед. Его руки, обтянутые старыми кожаными перчатками с отрезанными пальцами, легли ей на талию. Через жесткую ткань пальто и три шерстяные

кофты он отчетливо почувствовал её ребра — они казались тонкими, острыми и хрупкими, как щепки от разбитого ящика.

Она попыталась сделать *arabesque*. Медленно подняла правую ногу назад. Движение, которое раньше, еще в июне, выполнялось одним легким, неуловимым посылом тела, теперь потребовало от нее страшного, животного усилия. Николай услышал, как из её сухой груди вырвался глухой, свистящий стон. Лопатки сошлись, шея вытянулась, но нога поднялась всего на сорок пять градусов от пола и задрожала мелкой, изнуряющей голодной дрожью.

— Выше, Ленка, выше! — крикнул старик, и его трость с сухим стуком опустилась на паркет. — Жизель — это воздух! Она мертва, она не весит в руках Альберта ничего! А у тебя тонна веса в бедре! Выше тяни!

— Не могу... — прошептала она, и её опорная правая нога резко подогнулась в колене.

Она рухнула бы всем весом на пол, если бы Николай не успел перехватить её под мышки. Они оба не удержались на обледеневшем, скользком паркете и повалились назад, в темноту за пределами круга коптилки. Метроном на подоконнике продолжал равнодушно отсчитывать секунды: *щёлк, щёлк, щёлк*.

Николай лежал на спине, чувствуя, как сквозь слои одежды проникает могильный, пронзительный холод половых досок. Елена лежала на его груди, тяжело, прерывисто дыша. От её волос сильно пахло гарью от буржуйки, сыростью и затхлой водой из Мойки.

— Коля, — сказала она в темноту, не поднимая головы. — У меня зубы шатаются. Сегодня утром один задний выпал, когда я сухарь пыталась в кипятке размочить. Это цинга, да? Скоро все выпадут?

Николай не ответил. Он сильнее прижал её к себе, утыкаясь носом в жесткий, пахнущий пылью воротник её мужского пиджака. Он твердо знал: если сейчас признать это, если произнести это страшное слово вслух, в этой мертвой комнате, они оба сдадутся. И больше не встанут.

В этот момент тяжелая дверь зала со скрипом приоткрылась. В узкую щель просунулся резкий луч карманного фонаря — «жужжалки», которую нужно было постоянно, с характерным сухим треском нажимать рукой, чтобы динамо-машина давала свет.

В зал вошел человек в длинном шинельном пальто с малиновыми петлицами интендантской службы. Лицо его в луче фонаря казалось круглым, гладким и неприлично сытым по сравнению с обтянутыми кожаными черепами артистов. На боку у него на тугой портупее висела кобура ТТ.

— Кто такие? — резко, с присвистом спросил военный, направляя луч фонаря прямо в глаза Николаю и ослепляя его. — Почему посторонние гражданские в помещении театра? Театр законсервирован. Тут склад армейского обмундирования второго эшелона организуется со следующей недели. Освободить зал. Живо. Ваши пропуска аннулированы.

Илья Филиппович медленно, тяжело опираясь на набалдашник своей трости, поднялся со своего венского стула. Его прямая спина в полумраке зала казалась каменной.

Глава 4. Право на воздух

Луч фонаря-«жужжалки» бешено дергался из стороны в сторону, выхватывая из плотной темноты зала то облупившуюся, тусклую позолоту на лепных капителях, то серые от известковой пыли штанины Николая. Интендант стоял у самого входа крепко, широко расставив ноги в добротных, подбитых толстым войлоком бурках. Из его полуоткрытого рта при каждом вздохе шел густой, плотный пар, отчетливо пахнущий хорошим табаком, махоркой и кислой армейской капустой. Этот запах сытой, здоровой, живой жизни показался Николаю, лежавшему на полу, глубоко оскорбительным, почти физически болезненным.

— Повторяю для особо непонятливых, — интендант не опускал фонарь, продолжая слепить лежащих на паркете артистов резким белым лучом. — Помещение официально передано под нужды вещевого службы Ленинградского фронта. Завтра с утра сюда начнут завозить пер-

вые тюки со вторым нательным бельем, портянками и армейскими полушубками. Очистить зал к утру. Гражданские — на выход со всеми вещами. Ваши театральные карточки здесь больше недействительны.

Илья Филиппович сделал два медленных шага вперед. Его старая деревянная трость сухо, хлестко стукнула по промерзшему паркету. В полумраке зала старик казался огромным, несмотря на то, что тяжелая довоенная шуба висела на его исхудавших плечах, как на огорожденном пугале.

— Ваша фамилия, товарищ интендант второго ранга? — голос балетмейстера прозвучал неожиданно плоско, сухо и властно, как у человека, привыкшего отдавать приказы задолго до того, как этот молодой военный вообще научился правильно носить портупею.

Офицер на секунду замялся, явно удивленный таким тоном со стороны голодного старика. Он опустил фонарь чуть ниже, переводя луч на грудь хореографа.

— Капитан Кравцов, — буркнул он, чуть сбавив тон. — А в чем дело, собственно, гражданин?

— В том, капитан Кравцов, что вы сейчас находитесь в Государственном академическом театре оперы и балета. Это великая сцена, а не сарай для хранения грязных портянок. Мы здесь не «гражданские». Мы — артисты официальной концертной бригады Политического управления фронта.

— Какой еще бригады? — Кравцов злобно сплюнул под ноги, прямо на обледеневший паркетный стык. — Вы на себя в зеркало давно смотрели, товарищ артист? Балеруны... Город в кольце, у меня под Колпино пехота без теплых портянок в окопах заживо гниет, снарядов не хватает, а вы тут в темноте ногами машете. Кому ваш балет сейчас нужен? Сталину он нужен? Жданову в Смольном? Кончился ваш балет, дедушка. Еще в августе кончился, вместе с последним эшеленом.

Елена, сидевшая у стены, тихо, судорожно охнула и еще сильнее вцепилась тонкими пальцами в плечо Николая. Николай почувствовал, как внутри него, где-то глубоко под ребрами, начинает закипать глухая, тяжелая, свинцовая ярость. Это была не та ярость, что заставляет человека громко кричать или размахивать руками, а та особая, блокадная злость, от которой каменеют челюсти и сводит мышцы. Он медленно, преодолевая сухое трение в суставах, поднялся на ноги, помогая встать Елене. Его колени хрустнули так громко в тишине зала, что капитан Кравцов невольно перевел луч фонаря на его ноги.

— Нам нужен, — глухо, почти шепотом сказал Николай, делая один шаг вперед, прямо в круг белого света. — Нам он нужен. И тем мальчишкам, кто завтра на передовую с Литейного уходит — тоже нужен. Если мы сейчас этот зал отдадим под твои тюки, капитан, то обратно его уже никогда не вернем. Мы город сдадим... внутри самих себя сдадим. Понимаешь ты это своей интендантской головой?

Кравцов нахмурился, его правая рука в тяжелой перчатке легла на кожаную кобуру ТТ. Не для того, чтобы выстрелить, а скорее по привычке, инстинктивно защищаясь от этой странной, пугающей уверенности истощенных, похожих на скелеты людей. В ледяном репетиционном зале повисла тяжелая, звенящая, ватная тишина. Немецкий метроном на подоконнике продолжал свое равнодушное, мерное движение: *щёлк... щёлк... щёлк...* Этот звук сейчас казался Николаю стуком часов на бомбе, которая вот-вот разнесет остатки их жизни.

Интендант внимательно, с прищуром посмотрел на Елены. Девушка стояла у станка, выпрямив спину в идеальную струну, хотя её худые руки крупно дрожали от холода и дикой усталости. Ее огромные, лихорадочно блестящие глаза замерли на лице офицера. В ней не было страха — только глухое, тупое, животное упрямство смертника, которому больше нечего терять.

— Концертная бригада, говорите? — Кравцов наконец убрал палец с кнопки фонаря, и комната снова погрузилась в полумрак, освещаемая лишь крошечным фитилем копилки.

— Ладно. Сделаем так, артисты. Через три дня у меня здесь, в малом фойе на втором этаже, будет закрытое заседание политотдела и снабженцев армии. Приедет член Военного совета фронта. Если вы, как говорите, настоящая бригада — покажете, что умеете. Покажете им свою «Жизель» или что вы там в темноте топчете.

Он сделал долгую паузу, разглядывая в полумраке Николая.

— Но предупреждаю сразу, чтоб потом без обид: если это будет жалкое зрелище, если кто-то из вас упадет в голодный обморок на первой минуте или начнет хныкать — я лично вышвырну ваши театральные шмотки на набережную, а зал забью досками до самого потолка. И паёк вам никто не выпишет. Договорились?

— Договорились, — быстро, не дав Илье Филипповичу вставить ни слова и перехватить инициативу, ответил Николай.

Кравцов круто повернулся на каблуках своих бурок и быстро пошел к выходу. Тяжелая дверь за ним захлопнулась с глухим, раскатистым стуком, от которого со стен зала полетела мелкая, сухая штукатурная пыль.

Как только шаги капитана затихли в дальнем конце коридора, Тонечка, до этого тихо сидевшая у холодной батареи, не выдержала. Она закрыла лицо руками и сухо, надсадно разрыдалась. Её худые плечи судорожно вздрагивали под наброшенным ватным одеялом.

— Три дня... — сквозь слезы и кашель прошептала она. — Ильа Филиппович, это же верная смерть. Мы не успеем ничего сделать. Борис Михайлович в подвале лежит... Нам даже порепетировать толком не под что. Под этот ящик деревянный? У Ленки ноги в кровь разбиты, она сегодня утром пуанты снять не могла, они к коже примерзли от сырости!

Илья Филиппович не ответил Тоне. Он медленно подошел к широкому подоконнику, протянул сухую, дрожащую руку и аккуратно остановил латунный маятник метронома. Железный щелчок оборвался. В зале мгновенно стало слышно, как за окном, далеко на Неве, протяжно, тоскливо и страшно воет зимний сиверко.

Старик повернулся к Николаю и Елене. Его лицо в темноте казалось вырезанным из куска серого, треснувшего гранита.

— Вы понимаете, на что согласились, дети мои? — тихо, почти шепотом спросил он. — Кравцов прав в одном: политотделу фронта не нужна наша жалость. Им нужен триумф. Они хотят видеть, что Ленинград не умирает, что у нас есть силы на красоту. Если мы выйдем и покажем им свою слабость, они просто закроют тему театра навсегда. Нам нужно поставить адажио из второго акта. То самое, где Жизель спасает Альберта. Где она — дух, который держит его на самой грани жизни и смерти.

Елена подошла к Николаю вплотную, молча взяла его за руку. Её ладонь была ледяной, сухой, но пальцы сжались на его запястье с удивительной, судорожной силой.

— Мы сделаем это, Илья Филиппович, — сказала она, и её пар коснулся щеки Николая. — Коля, давай сначала. От самого входа. Борис Михайлович... Борис Михайлович бы не простил нам, если бы мы сейчас просто ушли по домам.

Николай кивнул. Он чувствовал, как внутри него, вопреки голоду, холоду и смертельной усталости, начинает просыпаться упрямое, злое, чисто балетное желание выжить. Не просто выжить — победить этого сытого капитана, этот лед, эту проклятую войну.

Они снова встали в позицию у станка. Илья Филиппович шелкнул пружиной метронома. Маятник качнулся. *Щёлк... щёлк... щёлк...* И в этой ледяной коробке, под мерный стук мертвой машины, два призрака начали свой великий танец против смерти.

Глава 5. Хлебный клей и щепка

Утро в промерзшем Ленинграде начиналось не со света, а со звука. Сначала в глухой темноте угловой комнаты раздавался затяжной, утробный, сухой кашель отца — Петр Николаевич хрипел долго, со свистом, выплевывая густую, серую мокроту в ржавую консервную банку из-

под довоенных бычков в томате. Затем далеко за окном, со стороны площади, начинала тоскливо, надсадно выть сирена воздушной тревоги. К ней в квартире на Мойке уже давно никто не прислушивался. Снаряд либо твой, либо летит мимо. Если твой — ты его просто не услышишь.

Николай медленно открыл глаза. На ресницах за ночь намерз тонкий слой инея. Шерстяное одеяло у самого рта заиндевело, превратившись в жесткую, колючую и холодную корку. Он медленно, стараясь не делать резких движений, согнул пальцы рук внутри перчаток. Суставы отозвались сухим, горячим и болезненным хрустом. Главное — встать до того, как утренний холод окончательно скует истощенные мышцы.

В комнате было три градуса ниже нуля. Буржуйка, сбита из железного бака для повидла, полностью остыла еще в полночь. Николай спустил ноги с кровати, не снимая валенок — он спал в одежде, в двух свитерах, пальто и шапке-ушанке, туго завязанной под самым подбородком.

— Коля... — донеслось с соседней кровати. Отец не поднимал головы от подушки, укутанной старым лисьим воротником. — Вода... В чайнике замерзла. Полностью. До самого дна.

Николай подошел к столу. На облупившемся подносе стоял железный чайник. Носик его был наглухо забит грязным бурым льдом. Чтобы добыть воду, нужно было идти на Мойку, к проруби. Но сначала — огонь.

В углу комнаты лежали редкие остатки довоенной жизни: расколотый на куски дубовый стул, ножка от этажерки и пачка старых нотных тетрадей. Николай взял тяжелый кухонный нож, приставил его к куску дубовой ножки и сильно нажал ладонью сверху. Дерево было сухим, твердым, нож скользил. Он давил всем своим весом, чувствуя, как от голода кружится голова, а перед глазами плывут липкие черные пятна. Наконец, откололась узкая, желтая щепка. Еще одна. Еще. Чтобы растопить буржуйку и согреть литр воды, нужно было настрогать целую гору такой щепы. Пальцы в обрезанных перчатках не слушались, нож сорвался и полоснул по указательному пальцу. Кровь пошла не сразу — она была густой, темной и выступала лениво, словно у нее тоже не было сил течь. Николай просто облизал палец, чувствуя во рту знакомый солоновато-железный вкус, и продолжил строгать.

Он разжег печь старыми нотами. Бумага вспыхнула быстро, осветив углы комнаты. На обоях чернели полосы копоти — обои в местах стыков давно отклеились от сырости и свисали серыми лохмотьями. На огне чайник оттаивал со страшным, стреляющим скрежетом.

Когда вода закипела, Николай достал их дневной паёк. Две карточки. Две серые, липкие полоски за этот день — всего 125 граммов тяжелого, влажного хлеба. Он походил на кусок глины, смешанной с целлюлозой и хвойной мукой. К пайку полагалась столовая ложка серого, мутного столярного клея, который они варили из костей, найденных на дореволюционных складах кожсырья. Этот клей, если его долго кипятить с лавровым листом, превращался в желеобразную массу. Называли его гордо — «желе».

Николай разрезал хлеб суровой ниткой на три тончайших ломтика. Один отдал отцу.

— Ешь, пап. Нам сегодня в театр идти. Кравцов срок дал.

Петр Николаевич взял хлеб синей, дрожащей рукой. Он долго держал его на ладони, словно взвешивая, потом отломил крошечную частицу и положил под язык. Так хлеб таял дольше, обманывая желудок.

— Коля... — старик посмотрел на сына сухими, выцветшими глазами. — В булочной на углу Невского... женщина лежала сегодня утром. Прямо у двери. Лицо платком закрыто, а из-под платка — коса. Светлая такая. Я подумал... не Ленка ли?

Николай замер. Ложка с мутным плиточным клеем остановилась у его рта. Внутри все похолодело так, что закололо в затылке.

— Ленка в театре была вчера, — хрипло выдавил он, заставляя себя проглотить теплую, тошнотворно пахнущую массу. — И сегодня придет. Ешь, папа.

Он поднялся, накинул на плечи брезентовый мешок для дров и вышел на улицу.

Ленинград встречал его мертвой, звенящей белизной. Снег не убирали с ноября, он лежал огромными, серыми барханами, сужая проезжую часть улиц до узких тропинок, где едва могли разойтись два человека. По этим тропинкам, качаясь от ветра, шли люди. У каждого к поясу были привязаны детские саночки, на которых лежали ведра с водой или длинные, укутанные в ковры свертки.

Николай свернул к Неве. У проруби стояла очередь — человек пятнадцать. Воду черпали консервными банками, привязанными к палкам, потому что лед у кромки намерз скользкими, крутыми горками. Одно неловкое движение — и улетишь под лед, сил выплыть ни у кого не было.

Перед Николаем стоял мальчик лет двенадцати. На нем было огромное взрослое пальто, подпоясанное телефонным проводом. Мальчик держал маленькое эмалированное ведроко. Вдруг его нога поехала на обледенелом склоне. Он не закричал — просто тихо, как-то по-птичьи пискнул и начал соскальзывать к черной, дымящейся на морозе воде.

Николай среагировал мгновенно — балетная выучка, вековая привычка ловить партнершу на лету сработала быстрее, чем включился ослабший мозг. Он упал на живот, выбросил руку вперед и схватил мальчишку за шиворот пальто. Ткань затрещала. Николай рванул его на себя, сдирая кожу на локтях о жесткий наст.

Они лежали на снегу оба, тяжело дыша. Мальчик не заплакал. Он только крепче прижал к себе пустое ведроко и тихо сказал:

— Дяденька... спасибо. У меня там мама... она пить просила. Если бы ведроко утонуло, я бы не вернулся.

Николай поднялся, чувствуя, как от резкого рывка в пояснице что-то хрустнуло, а в колене появилась тупая, ноющая боль. Он молча помог мальчику набрать воды, потом набрал свое ведроко.

Дорога к театру через замерзший город заняла почти два часа. Ведроко казалось неподъемным, пальцы в перчатках околели так, что превратились в белые, нечувствительные деревяшки. Каждый шаг давался с трудом. Мышцы голени, лишённые нормального питания, то и дело сводило судорогами — они скручивались под кожей тугими узлами, заставляя Николая останавливаться и тереть ногу через сукно брюк.

Когда он вошел в репетиционный зал Кировского, там уже была Елена.

Она сидела на полу, прислонившись спиной к холодной батарее. Ее левая нога была обнажена до колена. Николай взглянул на ее голеностоп и замер, выронив ведроко. Вода выплеснулась на паркет, мгновенно превращаясь в серую ледяную лужицу.

Вся лодыжка Елены была буро-черной от подкожного кровоизлияния. Сосуды не выдержали вчерашней нагрузки под метроном. Цинга и истощение сделали ткани хрупкими, как сухое стекло. Нога раздулась так, что превратилась в бесформенную, синеватую подушку. Надеть пуант на такую ногу было физически невозможно — даже легкое прикосновение пальцев заставляло девушку судорожно сжимать губы, чтобы не закричать.

Илья Филиппович стоял рядом, опустив голову. Его трость дрожала.

— Всё, — тихо сказал старик, не смотря на Николая. — Приехали. С такой ногой не то что *pas de bourrée*... ходить нельзя. Через два дня Кравцов приведет комиссию. Зал заколотят.

Елена подняла голову. Из ее глаз катились слезы, оставляя чистые дорожки на испачканном сажей лице.

— Коля... — прошептала она, ломая пальцы. — Я смогу. Я завяжу ленты ту же. Я просто не буду наступать на пятку. Коля, не отдавай им зал...

Николай подошел, опустился перед ней на колени. Ткнулся лбом в ее холодное, распухшее колено. Он знал, что тугая перевязка тут не поможет. При попытке встать на пальцы сустав просто вывернется, и она останется калеккой на всю жизнь — если вообще выживет в эту зиму.

Но в его голове уже зрел безумный, страшный план. Он вспомнил, что в госпитале на Садовой, развернутом в здании бывшей школы, работает военврач третьего ранга Суворов — страстный театрал, который до войны не пропускал ни одной премьеры Николая. У него должен быть новокаин. Или хотя бы спирт, чтобы залить боль.

Николай поднялся, завязывая ушанку крепче.

— Ждите здесь, — коротко бросил он. — Я приду через три часа. Никуда не уходи, Ленка. Слышишь? Не смей вставать.

Он круто повернулся и пошел к выходу, зная, что в городе начался комендантский час, а на улицах лютуют патрули, расстреливающие мародеров и нарушителей на месте без долгих разбирательств.

Глава 6. Проверка документов

Темнота на Садовой улице была такой густой, что казалась осязаемой, липкой и тяжелой. Николай шел медленно, выставив вперед левую руку, чтобы вслепую не наткнуться на торчащие из сугробов острые обломки обрушенной кирпичной стены — днем в этот квартал прилетело две тяжелые немецкие фугаски, и морозный воздух всё еще сильно горчил сухой, удушливой известковой гарью. Луны на небе не было. Все небо наглухо заволочло тяжелыми, низкими тучами, сквозь которые не пробивался ни один луч. Город казался полностью вымершим, выскобленным до костей, и только редкий, далекий гул зенитных орудий на самых окраинах напоминал, что эта мертвая земля еще сопротивляется.

Угловатая, темная тень возникла из глубокого сугроба совершенно внезапно, словно соткалась из самого ледяного воздуха.

— Стой! Руки вверх! Стрелять буду! — голос был молодым, сорванным на испуганный фальцет, но металлический, сухой щелчок затвора трехлинейки прозвучал в ночной тишине вполне убедительно.

Николай мгновенно замер. Жестяное ведро, которое он нес в правой руке, тихо, жалобно звякнуло дужкой. Мышцы спины мгновенно одеревенели. Он медленно, стараясь не делать никаких резких движений, поднял руки до уровня плеч. Из-за ватных сдвоенных свитеров под мышками тут же закололо холодным, липким потом.

— Не стреляйте. Я свой. Артист из Кировского театра, — хрипло сказал он, чувствуя, как на лютom морозе мгновенно пересохло в горле.

Через секунду ему в самое лицо ударил резкий, слепящий луч карманного фонаря. Николай зажмурился, из глаз сами собой покатались тяжелые, соленые слезы. Его грубо, с силой схватили за шиворот пальто и рванули вперед, к темной подворотне. Кто-то профессионально и быстро похлопал его по бокам поверх одежды, проверяя карманы на наличие оружия.

— Документы, — скомандовал второй голос, постарше и значительно глуше первого. Пахло от этого человека махоркой-крупкой, сухарями и сырой овчиной.

Николай аккуратно полез во внутренний карман, вытащил обернутую в кусок старой газеты красноармейскую книжку ополченца и свой театральный пропуск. Старший патрульный взял бумаги, поднес их к самому стеклу фонаря, тщательно прикрывая ладонью свет, чтобы снаружи, со стороны улицы, не было видно опасного отблеска для немецких наводчиков.

— Николай Веселовский... — прочитал он по слогам. — Год рождения девятнадцатый. Бронь? Какая сейчас может быть бронь, парень, когда немцы у ворот? Из ополчения почему комиссован?

— Сердце... ревмокардит, — соврал Николай. На самом деле бронь ему выхлопотал сам директор театра еще в августе, когда формировали фронтовые концертные бригады. — Я в госпиталь иду. На Садовую. Там балерине... Елене Мухиной... лекарство срочно нужно. Нога у нее. Цинга.

Патрульные молча переглянулись в темноте подворотни. Тот, что помоложе, сплюнул через щель в зубах на обледенелую ступеньку.

— Балерина, говоришь? Нога? Ты время видел, гражданин артист? Двадцать три сорок. Комендантский час уже полтора часа как идет по всему городу. Пропуск ночной где? Специальный, с красной полосой?

— Нет пропуска, — Николай обреченно опустил голову. — Нам интендант Кравцов разрешил в зале репетировать, а пропуск выписать забыл... или просто не успел.

— Кравцов? Какой еще Кравцов? Тут этих Кравцовых в каждом батальоне снабжения по три штуки числится. Пошли, парень. В отделении быстро разберутся, шпион ты немецкий или просто дурак гражданский. Ведро брось.

— Ведро-то зачем? — тихо, с отчаянием взмолился Николай. — Оно казенное, театральное... Из слесарной мастерской.

— Брось, кому сказано! — младший патрульный с силой рванул ведро из его замерзших пальцев. Жестянка с грохотом покатилась по обледенелому насту улицы, оставляя сухой, пустой и долгий звон.

Его повели через темные, запутанные дворы-колодцы. Николай шел, постоянно спотыкаясь о замерзшие кучи нечистот и строительного мусора. Ноги в тяжелых валенках казались чужими, огромными деревянными колодами. Боль в колене, вспыхнувшая после утреннего прыжка у невской проруби, теперь разгорелась с новой, страшной силой, отдавая при каждом шаге тупым, горячим гвоздем прямо в чашечку сустава. Он отчетливо понимал: если они запрут его в камере до самого утра, Елене больше никто не поможет. Сустав опухнет окончательно, начнется некроз тканей, и через три дня, когда придет Кравцов с комиссией Военного совета, на сцене просто некому будет стоять.

Спецпункт НКВД размещался в глубоком подвале бывшего доходного дома. Все окна были наглухо забиты толстыми листами кровельного железа и завалены мешками с землей. Внутри пахло накурленным, тяжелым махорочным перегаром, сыростью, хлоркой и гнилой картошкой. У самого входа, за колченогим деревянным столом, под тусклой лампочкой без абажура сидел дежурный — пожилой лейтенант с серым, осунувшимся лицом и глубокими, черными складками у рта. На столе перед ним лежали раскрытая амбарная книга, чернильница-непроливайка и обглоданная корка сухой, жесткой воблы.

— Вот, товарищ лейтенант, — старший патрульный выложил на стол документы Николая. — В комендантский час без ночного пропуска на Садовой задержан. Путается в показаниях. Говорит, артист, про какую-то балерину и ногу плетет. Оружия не обнаружено, но вел себя крайне подозрительно — шел вдоль стены, маскировался. Может, наводчик. Днем-то в этот квадрат аккуратно немецкие снаряды прилетели.

Лейтенант не спеша поднял глаза. Они были воспаленными, с красными прожилками от вечной бессонницы. Он взял театральный пропуск Николая, повертел его в пальцах, поскреб ногтем поблекшую круглую печать с гербом.

— Веселовский... — негромко сказал лейтенант. Голос у него был сиплый, глубоко простуженный. — Танцуешь, значит? На пуантах?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.